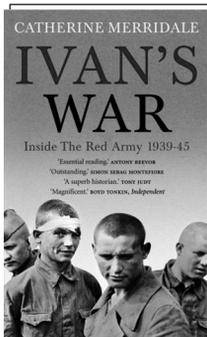


Мне представляется, что при всех своих плюсах работа Майкл оставляет многие темы открытыми для интерпретации и заставляет нас — читателей — дальше думать о противоречивости советского времени, советского человека, советской идентичности.

Сергей Абашин



Catherine Merridale. *Ivan's War. The Red Army 1939–1945.*
L.: Faber and Faber, 2005 (paperback edition). 396 p.

Взрывая, возмутишь ключи,
Питайся ими — и молчи.
Ф. Тютчев. Silentium

Потом наступает молчание
Исподволь, неспроста.
О. Бергольц.
(Из рабочих тетрадей)

Первое чувство: в книге Кэтрин Мерридейл с трудом отыщется нечто, чего бы не знал, о чем бы не догадывался даже человек из того поколения, которое лишь играло в войну, в «русских и немцев». Подспудное знание возникало из уродства инвалидов, домашнего лендлизовского инструмента, газет, в которые были завернуты старые вещи, из отрывочных воспоминаний и многословного нежелания говорить о прошлом. Книжки были лишь псевдонимом невыразимого — гордой и постыдной реальности прошедшей войны. От них ждали объяснения, как следует горевать, помнить и толковать войну, чтобы совместить прошлое с конформным будущим, как наделить войну

смыслом, который не разыскать в бессмысленности страдания. Или напротив — если индивидуальная жизнь (чаще — смерть) обладала подобием простоты и цельности, то общий смысл личной жертвы ускользал, переливался всеми цветами безысходности, торжества государства и коллективистской идеологии.

В этой невозможности соединить личное и общее, правду и смысл, осознать исток бесконечных вариаций расплывчатой темы, может быть, кроется объяснение того, отчего на русском языке не было и нет повествования, равного книге британского историка К. Мерридейл — гуманистического повествования, выходящего за рамки художественного свидетельства или документированного изложения. В попытке объять существо войны российское общество не смогло преодолеть ее прославления — Великой, Отечественной. В массовом сознании она по-прежнему предстает высшим оправданием коллективной несвободы, кульминацией жизненного пути целого поколения, высшей точкой современной истории, источником патриотической гордости и притязаний на особую миссию России, георгиевской ленточкой.

Книга К. Мерридейл порывает с традицией глорификации войны, фашистской по своей идейной генеалогии и социальным функциям. Шаг за шагом она восстанавливает действительность «жизни и смерти» советского солдата (эти слова присутствовали в заглавии первого издания). «Иванова война» продолжает исследования К. Мерридейл об отношении к страданиям и смерти, о воспоминании и исторической памяти в России¹. Однако каков бы ни был исследовательский опыт автора, поставленная в новой книге задача ошеломляет профессиональной трудностью. Речь идет о более чем 35 миллионах мужчин и женщин, составлявших Красную армию в 1939–1945 гг., несколькими огромными волнами призывов втянутых в войну. Армия включала отцов и их детей (и различия между поколениями были предельно обострены пост-революционным преобразованием страны). Для многих молодых людей война стала первым знакомством с большой родиной, для других — заветной возможностью получить техническую специальность. Почти для каждого, кто встретил войну в 1941 г., она означала ранение, плен или смерть — или все вместе взятое: потери Красной армии за первые шесть

¹ C. Merridale. 1) *Night of Stone: Death and Memory in Twentieth-Century Russia*. N.Y., 2000; 2) *The Collective Mind: Trauma and Shell-Shock in Twentieth-Century Russia* // *Journal of Contemporary History*. Vol. 35. No. 1. P. 39–55; 3) *Redesigning History in Contemporary Russia* // *Ibid.* Vol. 38. No. 1. P. 13–28. См. также вышедшую после публикации «Ивановой войны» статью в том же журнале «*Culture, Ideology and Combat in the Red Army, 1939–45*» (Vol. 41. No. 2. P. 305–324)

месяцев войны достигли четырех пятых ее численности накануне 22 июня. К. Мерридейл показывает, как война вобрала в себя разнородный социальный универсум и переопределила его, назначив каждому ячейку на многомерных пространствах своей безумной шахматной доски, принуждая принять свои правила без правил, создавая каждому особое пространство индивидуального выбора или не оставляя ни малейшего шанса ни на жизнь, ни на достойную смерть. Говоря словами самой К. Мерридейл, «война создала ландшафт, на котором любой выбор был потенциально смертелен как для солдат, так и для гражданских» (Р. 329).

Сколь бы разнородными ни были жизненные переживания, «коллективная ясность цели была беспрецедентной». Это не означало, однако, единства общества, даже той его (преобладающей) части, которая обладала сознанием этой ясности. «Война создала иерархические различия, породила выигравших и проигравших, привела к миллионам смертей. Физическое разлучение, голод и насилие не объединяют сообщества». Вера в солидарность времен войны, о которой так часто вспоминают, основывалась на жестком контроле того, что людям позволялось знать о действительности за пределами их непосредственного опыта (Р. 196). «Что бы ни говорил Сталин о дружной работе всего народа, — размышляет К. Мерридейл над многочисленными свидетельствами, — с 1943 г. большинство фронтовиков уважали только передовую и товарищество по опасности. Противопоставив солдата гражданскому населению, возбуждая страх перед шпионами и „наседками“, обратив фронтовика против сообщества тыловых военных „крыс“, война раздробила, а не объединила советский народ. Хуже всего, что передовая отделила фронтовиков от самих себя» (Р. 202).

Социальная история самоистребления немислима без экзистенциального сопереживания, помноженного на профессиональную чуткость к фальши. Свидетельства военных лет выражены языком, на котором приучила людей выражать свои чувства тоталитарно-ориентированная власть, приноровлены к нормам цензуры, соотнесены с ожиданиями адресата. Если с такого рода препятствиями историки привыкли иметь дело, то с конденсацией времени и смерти, пожалуй, нет (иначе бы они не оценивали участников революции и войны по нормам поведения офис-менеджеров). Многомесячные бессонница и голод плохо совместимы с декартовской прозрачностью мышления, с кантовской четкостью этического закона. Как не раз подчеркивает К. Мерридейл, цитируя письма военных лет, момент смертельного напряжения спасительно выпадает из сознания. Не может быть сочувствия к насильнику, но мас-

совые изнасилования, творимые не только в Восточной Пруссии, автор сумела объяснить, реконструируя социальный и личный опыт советских солдат, особый способ их существования (Р. 270–277).

Вспоминать могут только живые — и помнят так, как подсказывает им последующий жизненный опыт. Сама привычка к воспоминанию придает ему смысл ритуала. «Культуре рядовых бойцов, на которой зиждились их боевой дух и стойкость, выживание их и, наверное, самой России, предстояло исчезнуть с оседающей пылью военной поры» (Р. 167). И все же две сотни встреч с участниками войны многое дали К. Мерридейл. Она с горечью думает: «Когда умрет последний ветеран, исчезнет преграда словам и идеям, которые наследники победы России смогут приписать ее героям, но на какое-то время эта преграда остается» (Р. 332).

Все возрастающая временная дистанция не разрушила табу «гостайны» на доступ к важнейшим для социального историка фондам архива министерства обороны, и остается только гадать, скрывают ли они свидетельства о жестокости начальства, трусости или даже мятежах в Красной армии (Р. 9). Подобно многим своим коллегам, К. Мерридейл отыскала трудоемкую и неполную замену запретным материалам, обратившись к документам курского и нескольких московских архивов.

Немногие предпринимаемые в России исследования в области антропологии войны (прежде всего, работы Е.С. Сенявской, с признательностью упоминаемой Мерридейл) тяготеют к структурному рассмотрению, плохо совместимому с историческим пониманием, с чуткостью к изменчивости социальных феноменов. Книга К. Мерридейл организована с достаточной долей повествовательной интуиции, чтобы совместить внимание к траектории индивидуальной судьбы и статичность социологического вопросника, подчиняя оба этих аспекта общей исторической динамике. «Слова и мысли, которые выглядели совершенно ясными в 1945 г., в начале войны часто обладали иными коннотациями и были неясными в своей направленности» (Р. 328). Патриотизм, летом 1941 г. пылкий, даже революционный, в ходе войны меняет свое содержание, ожесточается, приобретает черты тотального ответа на злодеяния врага. Изложение разворачивается в глубину, как разворачивалась собственная стихия войны, оставаясь верным авторскому замыслу, выбирающему сюжеты и героев. Несправедливым поэтому был бы упрек автору в том, что она лишь вскользь касается Киевской катастрофы или Ленинградской блокады, не пытается объяснить, почему даже летом 1943 г. советские бойцы тысячами переходят на сторону немцев (Р. 194).

В большой книге К. Мерридейл читатель встретит фактические ошибки и граничащие с ними упрощения. Кажется все же уместным пренебречь обязанностью рецензента указывать на то, что он полагает неверным: эти промахи и рискованные упрощения, как правило, не нарушают аргументации и общего строя книги. Важность представляет лишь одно из спорных мест. «Груды тел появились на центральных городских кладбищах в центре, каждый из этих людей был застрелен с близкого расстояния из полицейского пистолета, — пишет К. Мерридейл об апогее репрессий 1937–1938 гг. — Чистки, процесс, в ходе которого десятки тысяч невинных людей были арестованы, подверглись тюремному заключению и, в конечном счете, в неизвестном количестве случаев казнены без суда, бросали тень на все области общественной жизни» (Р. 39). Этот странный коллаж невежественной риторики и ставшей притчей во языцех старой полемической ошибки Арча Дж. Гетти в оценке масштабов репрессий нуждается в объяснении. Почему тонкому знатоку советской повседневности и политического режима оказалось необходимым представить его в качестве банальной, хотя и отвратительной диктатуры или «тирании»? Классическое представление о народе, страдающем под гнетом тирана, думается, спасительно для авторской концепции, проникнутой душевным сопереживанием, если не любовью к своим героям, к погибшим и тем, кого она угощала чаем. Вероятно, по той же причине войска НКВД представлены в книге исключительно орудием репрессий и контроля. Как быть, однако, с бойцами полевых дивизий и бригад НКВД, со сгоревшими на Курской дуге танкистами, носившими петлицы этого печально знаменитого ведомства? Автор дает немало материала для создания впечатления о континууме социальной реальности, пределы которого обозначают абстракции «власти» и «народа» (см., например, Р. 330), однако это впечатление ускользает от концептуализации. Если система взглядов и ценностей, способ самовыражения были привнесены, навязаны «властью», то неумолимо возникает вопрос об источниках этой власти, — вопрос, вовсе не безразличный и для понимания России в мировой войне.

Книга К. Мерридейл, адресованная западному читателю, важна для широкого прочтения в России. Достанет ли у российского читателя широты и отзывчивости, чтобы без предубеждения воспринять «Иванову войну»? Появится ли у него душевный дискомфорт от наследственного безразличия к войне Джона — или Филиппа Мерридейла, которому дочь посвятила свою книгу о войне на востоке?

Олег Кен